



Маяк в Пустоте
Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов Маяк в Пустоте

<https://litres.ru/74131474>

SelfPub; 2026

Аннотация

Земля экономит свет. Дети растут в вечерних сумерках, а на дальней станции «Эхо», на самом краю Солнечной системы, ксенолингвист Марина Соколова каждый день говорит с десятилетней дочерью через пять световых часов — двумя монологами, что почти никогда не встречаются. Однажды в приёмнике оживает сигнал, которого ждали десять долгих лет. Он приходит слишком быстро. Он говорит слишком нежно. Он приносит подарок, о котором молилась вся планета, и невозможно понять, где заканчивается чудо и начинается ошибка перевода. Одна женщина услышит намерение раньше, чем сумеет понять его точный смысл, — и однажды заплатит за верный, окончательный перевод самым дорогим, что у неё есть.

Содержание

Часть первая. Эхо	4
Часть вторая. Дар	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Сероусов

Маяк в Пустоте

Часть первая. Эхо

1

Соня собиралась на экране из кусков — сначала лоб, потом смеющиеся глаза, потом рот, застывший на полуслове, — будто девочку сшивали из отдельных кадров и не успевали за ней. Это была запись. Все их разговоры были записями: между Мариной и дочерью лежало пять световых часов, и слово, сказанное здесь, добиралось вниз только к вечеру, а ответ возвращался за полночь. Они жили в разных «сейчас» и научились это почти любить, потому что другого им не досталось.

— ...и тогда я примотала к ней проволоку от старых вешалок, — говорила Соня из утра, которое для Марины давно прошло. — Мам. Если поднять её на крышу, ты станешь ближе?

Марина шевельнула губами прежде, чем ответить, — привычка пробовать слово на вес осталась с тех времён, когда словом ещё можно было что-то склеить. Она наклонилась к камере и записала:

— Антенна ловит только то, что уже случилось, Сонечка.

— Она смотрела в объектив, а не в застывшее лицо на экране: так, объяснил ей когда-то инженер связи, взгляд приходит вниз прямым, глаза в глаза, а не мимо. — Я обнимаю тебя из прошлого. Пока ты это услышишь, у тебя наступит завтра, а я успею соскучиться сильнее.

За Сониным плечом комната стояла тёмная — не вечерняя, а выключенная. Наземный комплекс жил по карте нормирования: свет давали окнами, час здесь, два там, и Соня научилась делать уроки в сумерках, как все дети её поколения — дети свёрнутых сетей, переехавших городов, отменённого лета. Марина знала эту темноту наизусть. Она сама выросла в её начале и ушла на самый край Солнечной системы, чтобы её закончить, — и вот теперь смотрела на дочь через пять световых часов и не могла зажечь ей даже настольную лампу.

Следующая запись пришла снизу — Соня отвечала на что-то, сказанное Мариной ещё накануне, и оттого разговор всегда шёл внахлёст, двумя монологами, которые почти никогда не встречались:

— У нас опять выключили в семь, — говорила Соня весело, без жалобы; жалобы она берегла, будто знала, сколько они стоят при такой доставке. — Я разговаривала с тобой в темноте. Ты не отвечала — ты же всегда отвечаешь только через полдня, — но я всё равно разговаривала.

Марина подняла запястье к камере. Плетённый браслет, синяя нить с жёлтой, Сониная работа двухлетней давности, рас-

трёпанная станционным сухим воздухом до пуха.

— Он ещё на мне, — записала она. — Видишь? Я его не снимаю. Он старше твоего последнего зуба и переживёт следующий.

Десять часов. Столько лететь её словам про зуб вниз и Солиному смеху обратно — если дочь засмеётся, Марина узнает об этом только к утру, и всё равно каждый раз ловила себя на том, что ждёт быстрее, чем позволяет физика, — как будто любовь могла обогнать свет, если очень сильно захотеть. Не могла. Это Марина знала лучше всех на станции. Вся её работа была об этом: о том, что смысл идёт медленнее желания и приходит искажённым, и всё, что остаётся, — перевести как можно вернее и надеяться, что на том конце тебя поймут не совсем неправильно.

Два года назад Марина в последний раз держала дочь на руках — на стартовой площадке, в толчее, под вой прогрева, когда обнять по-настоящему было уже нельзя из-за скаффандра, и они прижались друг к другу боками, нелепо, как две доски. «Это ненадолго», — сказала тогда Марина и не солгала: два года на краю системы и правда были ненадолго по меркам того, что они здесь искали. Но Соня мерила время не в тех мерах. Соня мерила его в выпавших зубах, в вырастании из ботинок, в вечерах, когда свет выключали в семь, а мама была картинкой, собранной из кадров, и картинку нельзя было обнять даже боком.

Она успела соскучиться по восьмилетней. Дочери было

десять.

Звук вошёл в отсек не тревогой, а чем-то тоньше — тем ровным двойным тоном, который на «Эхо» не звучал ни разу за три года дежурства и который каждый здесь узнал бы во сне, потому что ради него их сюда и отправили.

Марина замерла с поднятой рукой — она как раз собиралась записать дочери что-то ещё про антенну.

На экране Соня из прошлого всё говорила, не зная, что мать больше не слушает:

— ...а ещё я ей имя придумала. Потом скажу какое, это секрет, пока ты не...

Марина остановила запись.

— Прости, Сонечка, — сказала она в пустой уже кадр, зная, что эти слова дойдут только к ночи, а она к тому времени, может быть, не сумеет объяснить, куда пропала. — Я отвечу. Как только смогу, я отвечу, слышишь, обязательно.

И закрыла канал прежде, чем успела договорить даже это.

Экран схлопнулся в точку. В точке на долю секунды отразился отсек — и Марина в нём, одна, с задранной рукавом и растрёпанным браслетом на запястье.

Двойной тон повторился. Терпеливый. Ровный. Он шёл из сигнальной, и он означал, что десять лет молчания кончились.

Коридор за дверью каюты был тёмн — «Эхо» сэкономило на всём, что не думало и не дышало, и свет в проходах шёл за человеком, зажигаясь на шаг впереди и гаснув на шаг

позади, так что всю дорогу до сигнальной Марина бежала в движущемся пятне, а за спиной у неё смыкалась темнота — та же самая, в которой сейчас, пятью часами ниже, сидела её дочь и разговаривала с матерью, которая не отвечала.

Марина опустила рукав и побежала.

2

В сигнальной уже горело всё, что могло гореть, — «Эхо» не тратило свет на коридоры, но на это тратило, не считаясь.

Ари сидела перед главным потоком, поджав под себя ногу, и напевала — тихо, без слов, тот же мотив, что и всегда, будто внутри у неё работал собственный маленький реактор, которому нужно было гудеть, чтобы думать. На щеке у неё темнела смазка. Ари всегда где-нибудь трогала машину раньше, чем вспоминала про лицо.

— Марина. — Она не обернулась, только толкнула к ней ногой второе кресло. — Иди сюда. Скажи мне, что мне это мерещится, и я пойду спать.

На экране столбцом шли числа.

Марина села. Прочла.

Два, три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать.

Первые она узнала мгновенно — их узнал бы школьник. Но природа умеет в простые числа: пульсары стучат ровно, распад считает честно, в спирали раковины прячется тот же ряд, что в шляпке подсолнуха. Простое число само по себе не доказывает ничего. Марина искала не число. Она искала намерение — ту крошечную избыточность, которую вкладыв-

вает в сообщение только тот, кто хочет быть понят: повтор, где повтор не нужен, оглядку на читателя, лишний жест «ты меня слышишь?».

Это она умела. За двадцать лет Марина научилась читать чужую волю к пониманию раньше, чем понимала само содержание, — как читают по лицу незнакомца на чужом языке, что он хочет добра, ещё не разобрав слов. Она прогнала последовательность через первый фильтр, второй, третий, отсекая случайное, ища скелет, — и скелет был. Он держал форму. Он был выстроен рукой, которая знала, что её будут разбирать, и заранее позаботилась о разбирающем.

И нашла. За рядом простых шёл ряд разностей между ними — а следом ряд, который проверял сам себя, кодируя правило, по которому был построен: сообщение объясняло, как его читать. Никакой пульсар так не делает. Пульсар не оборачивается посмотреть, поняли ли его.

— Это не шум, — сказала Марина, и собственный голос показался ей чужим, слишком громким для того, что она держала в руках. — Шум не повторяется через простые и не приносит с собой инструкцию к самому себе. Это кто-то. Это кто-то, кто очень старался, чтобы мы не приняли его за шум.

Ари перестала напевать.

Марина знала про неё немного, но главное: Ари была на станции самой молодой, пришла в двадцать три, реакторщицей, и десять лет из своих неполных тридцати трёх прожила здесь, на краю, слушая ту самую тишину, ради которой все

они сюда прилетели, и ни разу, кажется, не пожалела. Другие тосковали по Земле — Ари тосковала по чуду. И вот чудо сидело перед ней столбцом чисел на экране, и она смотрела на него так, как смотрят на то, чего ждали всю жизнь, всё ещё не веря, что дождались.

В сигнальной сделалось так тихо, что стало слышно вентиляцию — и под ней, у самого дна записи, что-то ещё: ровный низкий подслои, слишком глубокий, чтобы нести смысл, слишком равномерный, чтобы быть помехой. Марина скользнула по нему слухом и списала на аппаратуру, на усталость приёмного тракта, на что угодно земное и понятное. Позже она будет вспоминать эту секунду чаще всех прочих в своей жизни: как она услышала гул и назвала его усталостью железа, и пошла дальше.

— Откуда? — спросила Ари шёпотом.

Марина подняла глаза к тому месту переборки, за которым, если продолжить прямую сквозь металл, обшивку и пустоту, стояло созвездие Лиры — и в нём, среди прочих, тусклая звезда с длинным каталожным именем, у которой, как считалось, есть каменные спутники в поясе, где может держаться вода.

— Оттуда, куда мы десять лет смотрели, — сказала она. — Разбуди командора. И... — она запнулась, — не разбуди пока Прию. Пусть у нас будет хоть час, пока это просто чудо, а не протокол.

Ари посмотрела на неё странно — не с укором, а с той

внезапной взрослостью, что проступала у неё иногда сквозь смазку и напев.

— Она тебе за это спасибо не скажет.

— Она мне вообще ни за что спасибо не говорит, — сказала Марина. — Иди.

3

К утру по стационарным часам новость перестала быть Мариной. Она стала общей и оттого — спорной.

Собрались в кают-компанию — весь личный состав «Эха», кроме дежурной смены: восемь человек международного экипажа, отобранных десять лет назад по конкурсу, о котором внизу тогда ещё писали в новостях, а теперь не писали ни о чём, кроме нормирования. Командор Сато Кэндзи сидел во главе, и перед ним на консоли стоял бумажный журавлик — он складывал их машинально, из отработанных распечаток, и оставлял по всей станции, как метки, по которым можно было прочесть, где он думал и как долго.

— Последовательность подтверждена независимо тремя операторами, — сказал Сато. Голос у него был ровный, институциональный, отшлифованный годами совещаний. — Артефакт искусственный. Вопрос перед нами один: отвечаем ли мы.

— Вопрос перед нами другой, — сказала Прия Наир.

Она стояла, хотя все сидели. В руках у неё был планшет протокола — не стационарный, общий, а её собственный, потёртый по углам до белизны, с которым она, по слухам, не

расставалась и во сне. Когда она подняла руку, левый рукав съехал, и под ним показался край ожогового шрама — гладкий, розовый, безволосый, уходящий выше локтя. Марина знала эту историю в общих чертах и старалась на шрам не смотреть, как все на станции старались, и оттого он был виден всем всегда.

— Протокол первого контакта, — Прия постучала по планшету сухо, дважды, ногтем, обгрызенным до мяса, — не спрашивает, отвечать ли. Он спрашивает, что мы обязаны сделать прежде, чем позволим себе решать. Карантин данных. Изоляция принимающего канала от станционных систем. Годы пассивного наблюдения без единого ответа. Мы не стучались в эту дверь, коллеги. Дверь постучала к нам. А первое правило по отношению к гостю, которого не звали, состоит в том, что его не впускают на слово.

В дальнем конце стола кто-то выдохнул — не зло, а устало, тем самым выдохом, которым в долгой экспедиции встречают человека, чьи предостережения слышали уже слишком часто. Марина поймала этот выдох — и, она вспомнит и это тоже, ощутила не согласие с Прией, а облегчение оттого, что не одна она хочет отмахнуться.

— Прия, — сказала Марина мягче, чем собиралась, — мы десять лет сидим в темноте на краю системы и слушаем. Впервые темнота ответила. Ты предлагаешь не отвечать ей ещё десять?

— Я предлагаю не умереть от вежливости, — сказала

Прия.

— Внизу нормируют свет. — Марина не повысила голоса, но говорила теперь не Прие, а столу, лицам, командору. — У меня там дочь делает уроки в сумерках, и она не одна такая — их целое поколение, выросшее при выключенном свете. Если за этим сигналом стоит хоть шанс — не спасения, я не говорю о спасении, просто ответа на единственный вопрос, одни ли мы, — то молчать десять лет из осторожности значит выбрать темноту в ту самую минуту, когда нам предложили поговорить о свете. Я расшифровала это своими руками. Я знаю, как оно устроено. Оно устроено, чтобы быть понятым. Это не капкан. Капканы не прикладывают к себе инструкцию.

Сато долго молчал. Пальцы его сами собой согнули из распечатки новый журавлик, острый, аккуратный.

— Комиссия внизу примет окончательное решение, — сказал он наконец. — Но моя рекомендация уйдёт вниз с моей подписью, а я рекомендую то, что рекомендует наш ксенолингвист. Мы отвечаем. Осторожно, по минимальному протоколу, но отвечаем.

За столом кто-то тихо, недоверчиво рассмеялся — не над чем-то, а просто оттого, что не вмещалось: они, восемь человек в консервной банке на краю темноты, только что решали за весь вид, ответить ли на первый за всю его историю оклик из-за порога. Осей вытирала глаза уголком рукава и не скрывала этого. Кто-то держал кого-то за плечо. Даже воздух

в кают-компании казался Марине другим — гуще, теплее, будто набитым присутствием всех, кто когда-либо смотрел в небо и спрашивал, одни ли мы, и не дожил до ответа.

Прия обвела их взглядом — не обиженным, а очень внимательным, будто запоминала лица по одному, впрок.

— Запишите в журнал, что я возражала, — сказала она. — Не для того, чтобы потом было кого винить, — виноватых искать поздно, когда уже есть в чём. Для того, чтобы, когда вам понадобится меня послушать, вы вспомнили, что это я сказала первой.

Она села. Рукав сполз ниже, открыв шрам весь, и она поправила его не глядя, привычным движением, каким поправляют то, к чему давно притерпелись.

4

Ответ составляли трое суток.

Марина строила его, как письмо ребёнку, который не знает ни одного твоего слова: от простого к простому, от «мы есть» к «мы слышим» к «мы отвечаем тебе». Она вкладывала в него ту же избыточность, что нашла в чужом, — намерение поверх смысла, тихое «мы хотим быть понятыми» под каждой строкой. Ночами, когда станция гасила свет и оставляла только приборные огни да ровный низкий подслон в динамиках, к которому все уже привыкли и перестали слышать, она ловила себя на том, что говорит не с далёкой звездой, а с Соней — с той, что мастерит антенну из вешалок, чтобы дотянуться до матери сквозь пустоту. Весь язык, ду-

мала Марина в эти часы, и есть антенна из вешалок. Кто-то на том конце тоже сложил из подручного, что было, поднял на крышу и позвал.

Она думала о времени. Вся её профессия была разговором с теми, кого не догнать: сигнал уходит и не возвращается при твоей жизни, и ты вкладываешь в него всё, что умеешь, зная, что ответ, если он будет, прочтёт кто-то другой, чужой, ещё не рождённый. Ксенолингвистика была наукой о письмах в вечность, и Марина выбрала её не случайно — она всю жизнь умела любить на расстоянии лучше, чем вблизи; писать выходило легче, чем обнимать. Соня родилась и сломала это умение. Соня требовала «сейчас», а «сейчас» было единственным, чего Марина не могла ей дать через пять световых часов. И вот теперь она сидела и писала письмо звезде, которое дойдёт через десятилетия, — и то же самое, ровно то же самое, она делала каждый вечер, говоря дочери «я отвечаю» и не отвечая, потому что «потом» давалось ей легко, а «сейчас» — нет.

Отправку назначили на 03:14 по станционному. Сато собрал у пульта тех, кто хотел присутствовать; пришли почти все, даже свободные от вахты, даже те, кто не понимал в сигнале ничего и пришёл просто быть рядом, когда это случится. Прия не пришла.

Марина держала палец над клавишей — и вдруг остановилась. То же самое движение, тремя днями раньше, над записью Сониного голоса: рука, зависшая между «сейчас» и

«уже поздно».

— Что мы ему говорим? — спросила Ари тихо, у неё за плечом.

— Да, — сказала Марина. — Мы говорим «да». Мы здесь, мы слышим, продолжай.

Она нажала.

Сигнал ушёл вниз, к тарелке, и оттуда — прямой линией сквозь темноту к тусклой звезде в Лире, до которой ему лететь десятилетия. Все в отсеке это понимали. Все знали, что ответ, если он вообще будет, придёт в мир, где не останется никого из них, — что письмо переживёт и Соню, и Сониных внуков, и что оно затем и пишется, чтобы пережить пишущего. Контакт длиной в несколько человеческих жизней. Так это работало. Так это обязано было работать: медленно, честно, на скорости света, которую не обгонишь, сколько ни соскучься.

На экране медленно гас след передачи.

А внизу записи, у самого дна, тот ровный низкий подслой, который Марина списала на усталость железа и о котором забыла, — сделал то, чего усталость железа не делает.

Он изменился.

Не сильно. На одну ноту. Будто там, в темноте за последней планетой, в холодном облаке на самом пороге системы, что-то очень старое и очень терпеливое повернулось во сне на звук — и открыло глаза гораздо раньше, чем письмо успело уйти хотя бы за орбиту Нептуна.

Марина этого не заметила. Она смотрела на гаснущий след и думала о том, что так и не ответила Соне и что ответит завтра, непременно, как только выспится, — и что теперь им всем есть о чём рассказать детям.

Часть вторая. Дар

5

Прошло шесть дней, и пустота ответила слишком быстро.

Это было первое, что оказалось неправильным. Не через десятилетия — через шесть дней. Что-то отделилось от края облака Оорта и двинулось к внутренней системе, и радар «Эха» дал по нему трек, от которого дежурный оператор звала Сато, а Сато — Марину, посреди ночи, потому что трек не имел смысла.

— Оно тормозит, — сказала Осей, немолодая женщина с ровным от усилия голосом; она держала его ровным так старательно, что было слышно усилие. — И разгоняется. И снова тормозит. Без факела. Марина, я не вижу, чем оно движется. У него нет выхлопа. У него ничего не горит. Оно просто... решает, где ему быть, и оказывается там.

Марина смотрела на метку, ползущую по проекции, и волосы у неё на руках поднялись прежде, чем разум догнал тело. Объект менял скорость так, как не может менять масса, которой не от чего оттолкнуться, — плавно, произвольно, будто пустота вокруг него была для него твёрдой.

Она знала слова для этого — «негравитационное ускорение», сухой каталожный термин, которым астрономы когда-то описали первый межзвёздный камень, пролетевший сквозь систему и не пожелавший объясниться. Но у камня

хотя бы была отговорка — испарение, отдача газа с прогретого бока. У этого не было ничего. Оно двигалось так, будто у него была причина двигаться, и причину эту держало при себе. На палубе стало очень тихо. Осей не отрывала глаз от проекции, и Марина видела, как побелели костяшки её руки на краю пульта.

— Сколько до него? — спросила она.

— Сближается. Четверо суток, если так пойдёт. Но «так» оно не идёт, оно идёт как хочет.

Объект вошёл в диапазон связи на четвёртые сутки — подойдя уже почти вплотную к станции, в считанных световых секундах, рукой подать по меркам пустоты, — и «Эхо» приняло не последовательность.

Оно приняло голос.

— Здравствуйте, — сказал голос, и он говорил по-русски, по-английски, на всех рабочих языках станции разом, разложенный по каналам так, что каждый услышал свой родной. — Мы так долго ждали. Мы так рады.

По палубе прошёл общий вдох — тот единый звук, который издаёт группа людей, когда сбывается небывалое. Кто-то прошептал «оно говорит», будто это нужно было произнести вслух, чтобы поверить. Голос был красив. В нём не было металла, не было машинной ровности — он дышал, теплел на согласных, звучал как человек, который очень долго молчал и наконец дорвался до тех, кому давно хотел всё рассказать.

Марина стояла у пульта, и во рту у неё пересохло. Она

набрала пробный вопрос — простой, на языке чисел, тот самый вопрос, ответ на который у настоящей Лиры занял бы десятилетия: спрашиваю ли я верно, слышишь ли ты меня.

Ответ пришёл через секунду.

— Ты спрашиваешь, понимаем ли мы тебя, — сказал голос, и в нём была улыбка — тёплая, детская, чуть смещённая, будто радость переводили с языка, где радость устроена немного иначе, чем у людей, и в переводе осталась запятая не на месте. — Понимаем. Мы близко. Мы не там, куда ты смотрела, — мы здесь. Не нужно больше ждать. Вам столько пришлось ждать в темноте. Больше не нужно.

Секунда. Не двадцать лет — секунда.

Марина смотрела на трек, на метку, подошедшую вплотную, и холодная, ясная мысль поднималась в ней сквозь восторг: собеседник был не в Лире. Собеседник был здесь, у самого порога дома, и говорил с ней так, как говорят через стол, — а значит, всё, что он скажет о том, откуда он и кто, придётся принимать не на веру расстояния, а как-то иначе.

Но восторг был громче. Восторг всегда громче.

— Вы росли в темноте, — сказал голос ласково, так ласково, что у Марины сжало горло. — Мы видели. Мы ждали, пока вы дорастёте, чтобы принять. И теперь вы доросли. Мы принесли вам свет. Смотрите. Это наш подарок. Это то, что мы дарим тем, кого любим.

И в поток пошли схемы.

Схемы были красивы. Это Марина поняла раньше, чем поняла, что они значат.

Ари поняла, что они значат.

— Это вакуумный тап, — сказала она, и напев её оборвался на середине ноты, и лицо у неё стало такое, будто ей показали воду посреди пустыни и она боится поверить своим глазам. Смазка на щеке, широко раскрытые глаза, дрожащий палец над схемой. — Это извлечение энергии из ложного вакуума. Из самого низа. Из ничего. Марина, тут нет топливного контура, потому что тут нет топлива. Тут нечему кончиться. Оно берёт из основания мира — из того, что есть всегда и везде. Если это правда... — она осеклась, сглотнула. — Если это правда, у Сони будет свет каждый день её жизни. Каждый. У всех детей внизу. Мы больше никогда не выключим им лампу.

И в этом была вся сила подарка — не в физике, которую понимали трое на станции, а в лампе. Марина услышала слово «лампа» и увидела не кривую энергии, а Сонину комнату в семь вечера, и лампу в ней, зажжённую, и дочь, делающую уроки при свете, как когда-то делала она сама, пока свет ещё не начали отнимать. Подарок бил не в разум. Он бил ниже — в то место, где человек хранит своих детей, и против этого удара у осторожности не было брони.

Гул в динамиках стоял ровный, тёплый, довольный.

Прия пришла в сигнальную, не дожидаясь, пока позовут. Она уже знала — на «Эхо» всё узнавалось за минуты.

— Он локальный, — сказала она без предисловий, глядя на трек, а не на схемы, будто схемы её не касались. — Он отвечает за секунду. Значит, он здесь. Значит, это не они, не те, кто послал сигнал из Лиры. Это либо ловушка, которую они выслали вперёд себя, либо автомат, который они запустили когда-то и, может быть, давно забыли. Третьего не бывает. И мне совершенно всё равно, какое из этих двух вам приятнее.

— Или это посол, — сказала Марина. — Копия, отправленная вперёд, чтобы говорить с нами, пока настоящие летят следом. Мы бы сделали так же, если бы умели. Ты называешь автоматом всё, чему не доверяешь, Прия. А он объясняет. Он показывает. Он ждал, пока мы дорастём, — он сам это сказал.

— Он сам это сказал. — Прия повторила это медленно, как повторяют улику. — Вот именно. Ты — ксенолингвист. Из всех людей на этой станции ты лучше всех знаешь, что «он сам сказал» — это не данные. Это перевод. Твой перевод. И ты переводишь его так, как тебе сейчас нужно, потому что внизу темно и там твоя дочь. Я не виню тебя за это, Марина. Я просто не могу на этом строить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.